

DOI 10.15826/izv2.2017.19.1.013

УДК 930.1 + 94(470)“17” + 321(470)

К. Д. Бугров*Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия*

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ XVIII В.*

В статье рассматривается вопрос о методах изучения политической мысли и — шире — политической культуры в России XVIII в. Автор анализирует методы и подходы «кембриджской школы» интеллектуальной истории, представленной трудами Кв. Скиннера и Дж. Покока, а также оценивает возможности применения этих методов к изучению российской истории. Комбинируя кембриджскую концепцию «культурных глоссариев» с исследовательскими концепциями Бахтина (теория речевых жанров), автор выдвигает идею об изучении политической мысли российского XVIII в. на основании выделения коммуникативных сфер — придворной и публичной. По мнению автора, характер политических дебатов, разворачивавшихся в каждой из этих коммуникативных сфер, определялся спецификой взаимоотношений адресата и адресанта в каждой из них. Придворная сфера оставалась пространством доминирования таких текстов, как панегирик, манифест и доклад, посвященных обсуждению различных аспектов абсолютистского понимания политики. В свою очередь, формирующаяся с середины XVIII в. публичная коммуникативная сфера — пространство журналов и книгоиздания — была зоной, в которой могли развиваться альтернативные политические дискурсы (в том числе — республиканский). В заключение автор предлагает переформатировать историю политической культуры как историю индивидуальных авторов, ведущих политический разговор в тех или иных коммуникативных сферах, применяя определенные понятия для достижения прагматических целей, оставаясь в рамках ограничивающего контекста «культурного лексикона».

Ключевые слова: Россия XVIII в., история понятий, интеллектуальная история, политическая культура, монархизм, абсолютизм, республиканизм, конституционализм, публичная сфера.

Политическую историю России часто определяют с помощью антитезы — будь то историческая константа (*государство vs общество*), плод прогресса (*инновация vs реакция*) или результат социальной конфигурации (*буржуазный vs феодальный*) [Raeff; Миронов; Янов]. Центральной темой для обсуждения обычно выступает анализ характера власти с акцентом на теме потенциального ограничения власти, которое формирует «оптимистический» либо «пессимистический» нарратив.

*Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-31-00007 «От источника к исторической реальности: методология “истории понятий” в исследованиях по истории общественной мысли России XVIII — первой половины XIX вв.».

© Бугров К. Д., 2017

Если социальные процессы жестко определяют ход развития политической мысли, то саму эту мысль вовсе не обязательно анализировать: достаточно с помощью классификации относить те или иные интеллектуальные феномены к социальным процессам, уже заранее определенным и описанным с помощью научного языка, — например, «буржуазные идеи», «государственничество» или «прогрессизм». Несмотря на стремительное расширение методологического инструментария гуманитарных наук, протекающее в последние десятилетия, сфера изучения политического в России до сих пор остается довольно-таки консервативной. В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть один из перспективных инструментариев, способных преодолеть границы жесткой социальной детерминации. Речь идет об исследовательских подходах «кембриджской школы» политической истории, связанной прежде всего с именами Кв. Скиннера и Дж. Покока, а также о том, как эти подходы могут быть применены в изучении истории России.

I

«История понятий» в последние два десятилетия прочно закрепились в числе наиболее «продвинутых» методик анализа политической истории, применяемых в исследовательских практиках изучения России [Дмитриев; Очерки исторической семантики...; Марасинова; Тимофеев, 2015; «Понятия о России»; Рощин; Копосов]. Надо отметить, что в большей степени эти практики тяготеют не к методам «кембриджской школы», а к исследовательской парадигме Р. Козеллека, направленной на анализ трансформаций концептуальных наборов в эпоху перехода к модерности. Важной методологической проблемой «истории понятий» Козеллека применительно к России является ее ориентированность на поиск и реконструкцию исторических значений концептов, которые употреблялись для обсуждения тех или иных политических вопросов — например, «монархия», «конституция», «закон». Кажется, что идеи Козеллека — по ряду причин — оказались востребованы в российской исторической науке больше, чем идеи «кембриджской школы».

Мы не ставим здесь задачи суммировать методы и подходы к изучению истории, предлагавшиеся крупнейшими из специалистов «кембриджской школы», Дж. Пококом и Кв. Скиннером, — на этот счет существует обширная литература, в том числе и на русском языке [Атнашев, Велижев; Asard; Meaning and Context; Goodhart; Edling, Morkenstam] — и отметим лишь наиболее важные моменты.

Скиннер предлагает исследователям сфокусироваться на реконструкции авторской интенции и задаться вопросом о том, что автор *совершал* в том или ином тексте [Skinner, p. 82]. В конечном счете, «если высказывание или иное действие совершалось волей агента, то любое возможное описание того, что агент имел в виду, должно обязательно соответствовать тому набору описаний, которые агент мог в принципе применить, чтобы описать и классифицировать свои слова или действия» [Ibid., p. 78].

Решительно отказываясь от соображения о том, что язык некоторым образом «отражает» социальные реалии, Скиннер в противовес этому настаивает на своей концепции «культурного лексикона» или «словаря»:

Ошибкой было бы изображать отношения между нашим социальным словарем (*vocabulary*) и нашим социальным миром как сугубо внешнее и контингентное. Верно, что наши социальные практики помогают наделить значением наш социальный словарь. Но равным образом верно и то, что наш социальный словарь помогает конституировать характер этих практик. Признание роли нашего оценочного языка в легитимации социального действия — это и есть признание той точки, в которой наш социальный словарь и ткань нашего социума поддерживают друг друга. <...> Обнаружение природы нормативного словаря, доступного нам для описания и оценки нашего поведения — это одновременно и обнаружение пределов самого этого поведения. В свою очередь, это предполагает, что, если мы хотим объяснить, почему социальные агенты концентрируются на одних направлениях действий и избегают других, мы обязаны ссылаться на превалирующие моральные языки общества, в котором они действуют. Такой язык, как кажется, будет выступать не эпифеноменом их проектов, но одной из детерминант их поведения [Skinner, p. 173–174].

В свою очередь, Покок раскрывал основы своей исследовательской программы во введении к классической работе «The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition» (1975). Стартовой точкой этой работы выступает анализ флорентийской политической мысли позднего Ренессанса — «тот момент в концептуализированном времени, когда республика оказалась осмыслена как пытающаяся справиться с собственной темпоральной конечностью, остаться морально и политически стабильной перед потоком иррациональных событий, считавшимся неизбежно разрушительным для всех систем светской стабильности» [Росock, p. VIII]. Чтобы решить эту проблему, Макиавелли и его флорентийские современники выработали определенный «язык», в рамках которого вели речь о столкновении «добродетели» с «фортуной» и «коррупцией»: «Исследование флорентийской мысли — это исследование того, как Макиавелли и его современники разрабатывали оттенки этих слов» [Ibid.], в контексте тех манер размышления о времени, которые существовали ранее. У этой речевой манеры оказалась делящаяся история, поскольку проблема сохраняла актуальность в иных контекстах, которым флорентийцы оставили важное «парадигмальное наследие: понятие о смешанном правительстве, динамичную *virtu*, и роль оружия и собственности в формировании гражданской личности» [Ibid.].

В конечном счете, как справедливо отмечают Т. Атнашев и М. Велижев, «в методе Скиннера и Покока сочетаются, с одной стороны, установка на интерпретацию авторской интенции внутри цепи уникальных ситуаций высказывания, позволяющей автору сделать определенный полемический ход (Скиннер), а с другой — установка на реконструкцию политического языка (идиомы, диалекта) и соответствующей традиции, задающих репертуар возможных смыслов и выражений (Покоч)» [Атнашев, Велижев].

Ключевым элементом изучения исторической специфики бытования того или иного понятия является изучение коммуникативного контекста употребления. Следовательно, значение употреблявшихся историческими акторами понятий зависело от ситуаций (контекстов), в которых осуществлялись речевые акты: одно и то же понятие могло «работать» по-разному в силу прагматики использования в конкретной речевой ситуации. Значение концепта «монархия» или «закон» зависело не только от того, какое представление о «монархии» мы считаем общепринятым для конкретного периода времени, или какое представление о «монархии» мы считаем характерным для той или иной идеологической системы, или даже от того, какая конфигурация социальных факторов скрывается за понятием. Значение определялось прежде всего *контекстами*, в которых автор осуществлял коммуникацию. Именно на изучение контекстов и опираются ведущие авторы «кембриджской школы».

Подобные подходы удобно применять при анализе однородного массива текстов и речевых ситуаций. Сам Скиннер, несколько преуменьшая амбициозный характер собственной исследовательской программы, отмечает, что его методы ориентированы на историческое изучение философских текстов, т. е., по преимуществу, трактатов, циркулировавших в элитной среде [On Encountering the Past]. Но что, если политическая культура не является совокупностью трактатов и памфлетов? Не ограничена ли в данном случае тщательно выстроенная система Skinner и его коллег собственным предметом исследования — западно-европейской философской традицией?

Озабоченность этой проблемой в полной мере присутствует и в специальном выпуске журнала «Новое литературное обозрение», посвященном творчеству Skinner и Покока: в интервью, подготовленных Т. Атнашевым и М. Велижевым, все пять респондентов (О. Хархордин, А. Миллер, А. Дмитриев, Д. Сдвижков, А. Бикбов) выразили определенный скепсис. Суммировать его, пожалуй, может вопрос, которым задается А. Дмитриев: «Насколько концептуальные артикуляции были на самом деле важны для российской политической культуры на разных этапах ее бытования или они все-таки оставались чем-то вроде словесного декораума?» [II дискуссия...]. Не превращается ли методика «кембриджской школы» в нечто «неприкрыто англосаксонское» (по выражению самого Дж. Покока) и продуцирующее, в конечном счете, интеллектуальные отношения в логике центра и периферии; такие отношения, где Макиавелли или Гоббс — это величины, заслуживающие изучения, а, например, российские авторы — нет?

Мы, конечно, не считаем, что «кембриджский» подход неприменим к российской истории, однако попытка применить методы «кембриджской» интеллектуальной истории на российском материале и впрямь обречена на столкновение с трудностями. На российском материале в определенном смысле легче использовать методы Козеллека: они предполагают анализ изменений в относительно продолжительном хронологическом срезе и с учетом комбинации социальных факторов, а также ориентированы на концептуальное воссоздание привычной

отечественному исследователю дихотомии «прогресс» — «традиция»¹. В данной связи исследователь может — на основании анализа крупных массивов текстов, уделяя особое внимание тем из них, которые являются в наибольшей степени формализованными (например, словарям), — отслеживать и фиксировать изменения предполагаемых общих значений тех или иных понятий (что, в конечном счете, подводит к привычным очеркам по исторической лексикологии²), задаваясь, например, таким вопросом: «Что подразумевалось под “монархией” в тот или иной момент времени?» Агентом изменения здесь выступает само время, в котором и разворачиваются процессы перманентного интеллектуального трансфера с Запада и социальных изменений в самом российском обществе.

По нашему мнению, в качестве контекста следует рассматривать в первую очередь тот коммуникативный контекст, в рамках которого осуществляются речевые акты. Это не означает перехода к социальному детерминизму; скорее, такой подход опирается на идеи Покока о существовании концептуальных «языков», охватывающих большие протяженности и предполагающих определенные темы, подлежащие обсуждению. Впрочем, одновременно он близок тому подходу, который был разработан в рамках теории речевых жанров М. М. Бахтина [Бахтин] и который кажется нам весьма перспективным для целей истории политической мысли³.

Как справедливо отмечает Д. В. Тимофеев (давно и плодотворно работающий в методологической парадигме истории понятий), «социальная и культурная неоднородность российского общества предопределяет недостаточность привлечения в рамках истории понятий произведений представителей одной социальной группы, а, следовательно, и необходимость реализации принципа жанрового многообразия используемых текстов» [Тимофеев, 2014, с. 133]. Как бы то ни было, речь идет о том, что авторы тех или иных текстов совершали такие коммуникативные действия, которые были возможны в пределах соответствующего коммуникативного контекста. Следует согласиться с мнением Т. Атнашева и М. Велижева, которые так суммируют специфику «кембриджской школы»:

История политических языков не предполагает существования «понятий» как самостоятельных объектов или феноменов, которые можно изучить и понять вне контекста содержательной полемики между авторами в определенный период. История языков или идиом предполагает фокус на языковом узусе — на авторских намерениях, на типовом репертуаре использования и устойчивых конstellляциях ключевых слов, узнаваемых и используемых авторами именно в качестве ключевых. Смещение методологического фокуса, происходящее при переходе от анализа «понятий» к анализу

¹ А. Бикбов, в свою очередь, выделяет три причины такой популярности подходов Козеллека: «европейский универсализм», «программный модернизм» и «операциональную гибкость» [II дискуссия...].

² См., например, попытку В. М. Живова определить российское *Sattelzeit*, отталкиваясь от идей Козеллека [Очерки исторической семантики..., с. 13–15].

³ На определенное сходство идей Бахтина и Скиннера обращают внимание, в частности, М. Эдлинг и У. Моркенстам [Edling, Morkenstam, p. 130]. В российской традиции чаще говорят о сходстве между Скиннером и Лотманом, но, на наш взгляд, сходств здесь не очень много.

«интенций» авторов и исследованию «языков», помогает преодолеть имплицитную метафизическую гипотезу, которую несет в себе слово «понятие» [Атнашев, Велижев].

Анализ в духе Скиннера и Покока предполагает, однако, акцент не на фиксировании происходящих изменений, но на рассмотрении того, каким образом изменения осуществляются в процессе коммуникации. Агентом трансформации выступает не ход времени, но сам речевой акт, прагматически ориентированный на достижение определенных целей, которые тесно связаны с историческим контекстом осуществления речевого акта, но не детерминированы им. Изменения осуществляются в процессе коммуникации, когда авторы, находясь внутри своего языкового контекста, оказываются способными найти новую манеру говорить о той или иной проблеме и таким образом совершить своеобразную концептуальную инновацию. Таким образом, изменения определяются не сдвигами в социальном контексте, отражающимися на структуре языка, но манипуляционными «трюками», ходами, которые авторы предпринимали в самом разговоре.

Когда мы говорим, например, о «монархии», нам надо понимать не только то, какие нормативные значения были доступны авторам, употребляющим это понятие, но в первую очередь — каким образом авторы его использовали в качестве ресурса, развертываемого в процессе коммуникации. Соответственно, исследователю следует задаться иным вопросом: «Каким образом авторы обсуждали “монархию” и к каким выводам приходили?» Итак, эта история — ни в коем случае не историческая лексикология, но и не «история идей», а, скорее, история дебатов, разворачивавшихся в соответствующих коммуникативных контекстах.

II

В каких случаях мы можем быть уверены, что авторы действительно ведут дебаты? Когда речь идет об изучении западноевропейской политической мысли, обычно не возникает сомнений относительно того, какие имена должны являться фигурантами такого исследования: политические мыслители — это, например, Макиавелли и Монтескье. Какие авторы российского XVIII в. могут считаться для отечественной традиции эквивалентами Макиавелли или Монтескье с исследовательской точки зрения? Или отсутствие Макиавелли означает и отсутствие интеллектуальной истории *a la* «кембриджская школа»?

В данной связи нам кажется плодотворным методологическое разделение российской политической культуры этого периода на *придворную* и *публичную* коммуникативные сферы. Речь идет о различии двух коммуникативных контекстов и, соответственно, о различиях функционирования речевых жанров (имеются в виду «вторичные» жанры по Бахтину) по причине различий в статусе участников коммуникативного процесса:

Существенным (конститутивным) признаком высказывания является его обращенность к кому-либо, его адресованность. <...> Кому адресовано высказывание, как

говорящий (или пишущий) ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их влияния на высказывание — от этого зависит и композиция и в особенности стиль высказывания. <...> Каждый речевой жанр в каждой области речевого общения имеет свою, определяющую его как жанр, типическую концепцию адресата [Бахтин, с. 275].

Различие между двумя сферами заключается, по нашему мнению, в характере отношений между адресатом и адресантом, свойственном тому или иному коммуникативному процессу. Конечно, социальный статус автора (как и статус читателя) имеет громадное значение и ни в коем случае не может быть проигнорирован. Однако он должен рассматриваться с учетом коммуникативного контекста, а не социальной структуры *per se*, сохраняя независимость от социального детерминизма.

В придворной сфере политическая речь была организована вокруг иерархии, в которой центральное место занимает монарх либо его субститут (придворного либо администратора). Говоря о придворной сфере, мы не имеем в виду какое-либо точное социологическое определение двора как «системы» или «института» [Польской, 2007]; мы определяем придворную сферу как коммуникативное пространство, объединяющее лиц, обладающих возможностью личного доступа к монарху (или по крайней мере к вельможе, обладающему личным доступом к монарху) на более или менее регулярной основе и признающих более высокий статус монарха как участника коммуникативного процесса.

Г. А. Гуковский — а его классическую работу 1936 г. о «дворянской фронде» в России XVIII в. вполне можно считать исследованием момента рождения публичной коммуникативной сферы — когда-то емко охарактеризовал придворную сферу, и мы с удовольствием воспользуемся его словами:

Сферой приложения силы искусства и мысли был в первую очередь дворец, игравший роль и политического, и культурного центра, и вельможско-дворянского клуба, и храма монархии, и театра, на котором разыгрывалось великолепное зрелище, смысл которого заключался в показе мощи, величия, неземного характера земной власти. <...> Торжественная ода, похвальная речь («слово») и были наиболее заметными видами официального литературного творчества; они жили не столько в книге, сколько в церемониале официального торжества [Гуковский, с. 13–15].

Социологизм Гуковского, столь характерный для начала 30-х гг. XX в., сегодня может показаться прямолинейным и непродуктивным. У нас нет, конечно, мысли солидаризироваться с марксистским объяснением политического процесса XVIII столетия, однако работа Гуковского довольно точно указывает на момент формирования *публичной сферы* в отечественной культуре.

Концепция публичной сферы отсылает нас к идеям Ю. Хабермаса, который рассматривает публичную сферу в социологическом ключе — как продукт формирования торговой буржуазии, достигший завершения к концу XVIII в. [Habermas, p. 20]. Оставляя критике определенный социологизм идей Хабермаса, мы считаем содержательным само определение публичной сферы как пространства функционирования общественного мнения, расположившегося

между частным пространством («буржуазной супружеской семьей»), пространством государственной власти и рыночным пространством товарного обмена; пространства, предполагающего (по крайней мере, теоретически) свободный обмен соображениями, осуществляемый равными субъектами в открытом для всех публичном пространстве [Habermas, p. 54–55]. В публичной сфере круг адресатов являлся широким и не был определен с большой точностью; адресат и адресант находились в отношениях равенства, а не иерархии. Равные между собой буржуа — продавцы и потребители товаров, частные люди в публичной сфере — усвоили манеры *republique des letters*, сферы литературного общения.

Отношения между придворной и публичной сферами не были, на наш взгляд, антагонистическими: оба коммуникативных контекста были тесно связаны. Велик соблазн рассматривать упомянутый выше дуализм придворной и публичной сфер как вариант противостояния «государство» — «общество», но это некорректно. Хабермас справедливо отмечает, что четкое разделение «государства» и «общества» было характерной чертой формирующейся публичной сферы — той, в которой функционировало общественное мнение, противопоставившее государственному принуждению «публичное использование разума» в морально-критических дебатах [Ibid., p. 30]. Однако такое разделение неприменимо к придворной сфере, для которой ключом являлась фигура монарха и в рамках которой и развертывалась политическая речь в XVIII в. в России. Основными средствами коммуникации при дворе являлись панегирик, докладная записка и манифест, а в публичной сфере — журнал и трактат.

Абсолютизм, таким образом, представляется нам важным элементом, тематически объединявшим различные тексты, создававшиеся в рамках придворной сферы коммуникации. Абсолютизм мы рассматриваем как риторическую стратегию, а не как функциональную систему администрирования. С точки зрения реальной способности управлять и контролировать властный аппарат Екатерина I и Екатерина II представляют собой совершенно разные случаи. Можно ли сказать, что Екатерина II была «абсолютней» Екатерины I? Для придворной коммуникативной сферы эти различия не были существенными: экстраординарные качества, которые панегиристы приписывали монархам [Успенский, Живов], не имели непосредственной связи со способностями самодержца. В данной связи абсолютизм — форма политической теологии, выражаясь языком К. Шмитта [Шмитт, с. 70–75], — оказывается укоренен в пространстве придворной сферы коммуникаций, выступая для него одновременно и аксиомой, и основным властным ресурсом.

Ведя речь об абсолютизме, мы понимаем такую манеру говорить о монархе, которая ссылается на божественный характер власти и/или не предполагает существование какого-либо светского органа, способного легально оспорить решения и действия монарха либо автономно предпринимать действия, нацеленные на достижение «общего блага». В этой связи реальным антагонистом абсолютизма не следует считать конституционализм [Польской, 2011] — как совокупность докладных записок, исходивших от разных группировок придворных

администраторов, он оставался частью придворного контекста. Механика убеждения в придворной сфере отличалась от механики убеждения в публичной сфере — как в силу различия отношений между адресатами и адресантами, так и в силу различия в их локализации.

Ярким примером того, как работала политическая речь в придворной сфере, является история проектов Н. И. Панина — влиятельного администратора при екатерининском дворе, одновременно занимающего видное место в традиции изучения российской политической мысли. В 60–80-х гг. XVIII в. Панин и его окружение создали ряд текстов, которые обычно объединяются под ярлыком «проектов», но по существу представляют собой докладные записки, ориентированные на то, чтобы убедить монарха (вначале царствующую Екатерину II, а затем наследника Павла Петровича) в необходимости определенных административно-политических изменений [Плотников; Бугров].

Несмотря на то, что проекты Панина часто рассматриваются как проявление «дворянской оппозиционности» [Худушина; Польской, 2011] или как попытка ограничить императорскую власть «представительным органом» [Ransel, p. 89], по существу их можно считать абсолютистскими — несмотря на присутствие в текстах возможных цитат из Руссо [Лотман, с. 178–179] и из предсмертной речи английского республиканца XVII в. Р. Рамбольда [Bugrov, p. 11]. При российском дворе разворачивалась оживленная дискуссия по вопросам о том, как должен быть организован императорский Совет, не имеет ли смысла замена коллегий на министерства с единоличной ответственностью, как остановить фаворитизм и обеспечить наилучшее управление ради «общего блага» [Бугров, Киселев]. В определенном смысле это позволяет подкрепить аргумент Д. Рансела, полагавшего, что создание проектов зависело от положения Панина (или любого иного члена элиты) при дворе: слабый в придворной борьбе сановник старался выдвинуть предложения о коллегиальном управлении, а входя в силу, отказывался от них [Ransel, p. 89]. Это сильное и, скорее всего, корректное объяснение, однако оно основано на противопоставлении «абсолютной» и «ограниченной» власти (не случайно Рансел приходит к выводу о «парадоксе потенциального реформатора» в России Нового времени). Однако коммуникативный контекст придворной сферы (населенной панегиристами, фаворитами и администраторами) не предполагал возможности оспорить доминирование абсолютной императорской власти, которая выступала в проектах Панина — как и в проектах многих других имперских администраторов — основным ресурсом легитимации и осуществления реформы.

Таким образом, проекты Панина следует рассматривать с учетом текстов других жанров придворной коммуникативной сферы — например, придворной проповеди, представленной текстами таких авторов, как Гавриил Попов или Платон Левшин. Мы не утверждаем, что Панин вдохновлялся проповедями Платона; мы лишь имеем в виду, что высказывания Платона определяли границы возможного для высказываний Панина. Если же опустить характеристику коммуникативного поля, в котором осуществлялась политическая речь Панина,

то легко усмотреть в его текстах попытку «ограничить волю императора» [Лаптева, с. 19], а затем — противопоставить их как «словесный декорум» суровым «реалиям» самодержавной России, в которых государство в который раз взяло верх над обществом.

III

Обычно публичную сферу и общественное мнение определяют как естественным образом возникшего антагониста властной структуры; так, Б. Н. Миронов в фундаментальном труде по российской социальной истории отмечает, что «в последней трети XVIII в. бюрократия попала под воздействие общественного мнения, которое выражалось различными способами, в том числе и через прессу» [Миронов, т. 2, с. 204]. Профессиональная бюрократия, на наш взгляд, вносила огромный вклад в формирование общественного мнения; специализация и профессионализация, развивавшиеся в растущем бюрократическом аппарате, позволили возникнуть экспертизе, основанной именно на обмене мнениями.

Несколько упрощая, можно констатировать: процветание теперь создавалось не государем, а таможенным тарифом; политика разворачивалась в пространстве рынка, движимого справедливыми и неизменными экономическими законами, и с опорой на технику, создаваемую с помощью точного и обоснованного научного знания. Таким образом, профессиональная и многочисленная бюрократия может считаться *sine qua non* общественного мнения в хабермасовском смысле: именно к классу профессиональных управляющих имеет смысл обращаться публично. В конечном счете, согласно Хабермасу, «гражданское общество возникло как следствие деперсонализации государственной власти» [Habermas, p. 19].

Это означает, что дебаты на экономические темы преобладали, что видно при анализе содержания журналов, которые в начале XIX в. все охотнее начинают помещать материалы об экономике и законодательстве. Д. В. Тимофеев в монографии, посвященной концептуальной истории начала XIX столетия, отмечает интерес издателей журналов к публикации текстов европейских конституционных актов, которые одновременно расценивались как возможные источники совершенствования экономической политики государства [Тимофеев, 2011, с. 306]. В этом пространстве и возникает грань между правительством и обществом — т. е. между «исполнителями» и «экспертами», бюрократами и публицистами. Таким образом, когда исследователи говорят об «обществе», обычно имеется в виду *общественное мнение* — набор периодических изданий с их авторами, редакторами и корреспондентами.

Хабермас, определяя общественное мнение XVIII–XIX вв. как «буржуазное», полагал, что оно оперирует абстрактными законами, отказываясь от старых представлений о власти как об *arcana imperii*:

В «законе» квинтэссенция общих, абстрактных и вечных норм обрела рациональность, где правое слилось со справедливым; отправление власти оказалось понижено

до простого исполнения этих норм. <...> Политическая сознательность развилась в публичной сфере гражданского общества, которое, в противоположность абсолютному суверенитету, артикулировало понятие об общих и абстрактных законах и которое в итоге провозгласило себя (т. е. общественное мнение) единственным легитимным источником этого закона [Habermas, p. 53–54].

Однако мы не следуем за Хабермасом в приписывании «гражданскому обществу» свойств агента. Напротив, общественное мнение следует рассматривать как форму коммуникативного контекста, но ни в коем случае не в качестве коллективного актора. Речь скорее следует вести о формировании крупных концептуальных парадигм — политической экономии или, например, национальной истории, дебаты о которой разворачивались именно в публичной сфере. Из текущих работ «крупного жанра» наиболее ярким исследованием публичной сферы начала XIX в. мы бы назвали — наряду с уже упомянутой монографией Д. В. Тимофеева — книгу М. Майофис «Воззвание к Европе» (2008), посвященную деятельности членов кружка «Арзамас» [Майофис].

Более того, именно в хабермасовской публичной сфере происходит разделение «государства» и «общества», но «государство» все же не меняет своего локуса, по-прежнему представляя собой консолидированную при дворе монарха группу бюрократов. А как обстояло дело с формированием такого стиля мысли — или, говоря словами Скиннера, «культурного лексикона», — в котором «государство» могло поменять свой локус? Мы имеем в виду, конечно, генезис республиканизма в России. Этот процесс невозможно рассматривать исключительно как результат импорта идей с Запада: как мы отметили выше, концепты трансформируются в соответствующем контексте в процессе коммуникации, поэтому ни одна идея не может быть охарактеризована только на основании анализа ее западноевропейского источника. С другой стороны, поскольку мы — вслед за Скиннером — не ставим изменения в политической культуре в жесткую зависимость от социального контекста и, соответственно, не можем обозначить республиканизм как результат развития, например, «буржуазных» отношений в России.

Уместно поставить вопрос: *каким образом* политическая коммуникация сделала республиканизм возможным в России? В лексикографическом отношении проблемы здесь нет: речь о республиках и о героических республиканцах шла, например, в хорошо известных читателям исторических сочинениях, включая тексты Плутарха или Тита Ливия; в трактатах по философии — от Пуфендорфа до Монтескье, — включавших обращения к аристотелевской классификации форм правления; наконец, в новостных сообщениях из Европы, особенно после начала революции во Франции. Однако упоминания о республиках на страницах журналов или в исторических сочинениях находились за пределами политического дискурса, развернутого в придворной сфере. Беседа о республике, таким образом, оставалась *не-политической* или, лучше сказать, *не-совсем-политической*; маркером этого служило отсутствие обсуждения того, возможна

ли республика на российской почве. Возможность вести речь о республиканизме предполагала прежде всего переоценку уже имевшегося набора абсолютистских идей о политике, укорененных в придворной политической коммуникации и далеких от республиканизма. Процесс такой переоценки развивался в публичной сфере вокруг тем, зачастую далеких от политики.

Есть ли в таком случае смысл говорить о политической мысли и политической культуре «вообще»? Мы отметили в начале этой статьи, что российскую политическую культуру часто определяют через антитезу — будь то константа российской истории (*государство vs общество*), плод прогресса (*инновация vs реакция*) или результат социальной конфигурации (*буржуазный vs феодальный*). Но, как мы постарались показать выше, более предпочтительным по сравнению с анализом политической культуры «вообще» может выступать анализ конкретных коммуникативных сфер, с акцентом на глоссариях (доступных манерах речи) и речевых жанрах (отношениях между адресатом и адресантом).

Те коммуникативные сферы, которые мы кратко рассмотрели выше, лишь задают рамки для обсуждения и определяют определенные паттерны жанра, но не диктуют конкретное содержание тем или иным образом. Здесь перспективным представляется обращение к истории понятий и подходам Скиннера с их акцентом на прагматике текста: изучение содержания в контексте дискуссии при учете принадлежности текстов к тем или иным коммуникативным контекстам, задававшим дискуссии определенные ограничения. Соответственно, историю политической культуры можно переформатировать — ее можно считать историей групп акторов, ведущих политический разговор в тех или иных коммуникативных сферах, применяя определенные понятия для достижения прагматических целей. Каким образом автор совершал инновации и доказывал те или иные точки зрения в рамках ограничивающего контекста? Этот вопрос, по нашему мнению, остается центральным в научной повестке истории политической мысли, опирающейся на инструментарий истории понятий «кембриджского» варианта.

Атнашев Т., Велижев М. «Context is king»: Джон Покок — историк политических языков (от составителей) [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2015. № 134 (4). С. 21–41. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/6426>.

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237–280.

Бугров К. Д. Монархия и реформы. Политические взгляды Н. И. Панина. Екатеринбург: БКИ, 2015.

Бугров К. Д., Киселев М. А. «Закон» и «Совет»: концептуальное поле проектов политических реформ российской бюрократической элиты (рубеж 50–60-х гг. XVIII в.) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2010. № 33. С. 110–139.

Луковский Г. А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750-х — 1760-х годов. М.; Л.: Изд-во Акад. наук, 1936.

Дмитриев А. Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 6–16.

II дискуссия вокруг кембриджской школы. Интервью с Александром Бикбовым, Александром Дмитриевым и Денисом Сдвижковым [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2015. № 134 (4). С. 93–108. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/6429>.

Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России, XVI–XX века : сб. науч. работ / [ред. кол.: Н. Е. Копосов, М. М. Кром, Н. Д. Потапова ; отв. ред. вып. Н. Е. Копосов]. СПб. : Алетей, 2006. (Сер. Источник, историк, история ; вып. 5). С. 9–32.

Латтева Ю. В. Проект фундаментальных законов Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина как проявление дворянской оппозиционности во второй половине XVIII века // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2011. № 9 (224). История. Вып. 44. С. 19–24.

Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Лотман Ю. М. Собр. соч. Т. 1 : Русская литература и культура Просвещения. М. : ОГИ, 2000. С. 5–206.

Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М. : Новое лит. обозрение, 2008.

Марасинова Е. Н. Власть и личность. Очерки русской истории XVIII века. М. : Наука, 2008.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода Империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи и правового государства : в 2 т. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999.

Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / ред. В. М. Живов. М. : Языки славянских культур, 2009.

Плотников А. Б. Политические проекты Н. И. Панина // Вопр. истории. 2000. № 7. С. 74–85.

Польской С. В. Формирование «придворного общества» в России: императорский двор и дворянство в середине XVIII века // Classical Russia. 1700–1825. 2007. Vol. 2. № 1–2. С. 117–143.

Польской С. В. Дворянский конституционализм в России XVIII — начала XIX вв. // Вопр. истории. 2011. № 6. С. 27–42.

«Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода : в 2 т. М. : Новое лит. обозрение, 2012.

Рощин Е. Н. История понятий: новый старый подход общественных наук // Политическая наука. 2009. № 4. С. 43–58.

Тимофеев Д. В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного русского подданного первой четверти XIX века. Челябинск : Энциклопедия, 2011.

Тимофеев Д. В. «История понятий» как теоретико-методологическая основа исследований по истории российской модернизации первой четверти XIX в. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2014. № 4. С. 123–136.

Тимофеев Д. В. Методология «история понятий» в контексте истории дореволюционной России: перспективы и принципы применения // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 50. М. : ИВИ РАН, 2015. С. 116–138.

Успенский Б. А., Живов В. М. Царь и бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избр. труды. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 286–291.

Худушина И. Ф. Царь. Бог. Россия. Самосознание русского дворянства (конец XVIII — первая треть XIX вв.). М. : ИФ РАН, 1995.

Шмитт К. Политическая теология. М. : КАНОН-Пресс-Ц, 2000.

Янов А. Л. Россия и Европа. 1462–1921 : в 3 т. М. : Новый Хронограф, 2008.

Asard E. Quentin Skinner and His Critics: Some Notes on a Methodological Debate // Statsvetenskaplig Tidskrift. 1987. № 2. P. 101–116.

Bugrov K. D. Les institutions d'État et les vertus civiques dans la pensée politique de Nikita Panin (1760–1780) // Cahiers du monde russe. 2012. № 53/4. P. 1–16.

Edling M., Morkenstam U. Quentin Skinner: From Historian of Ideas to Political Scientist // Scandinavian Political Studies. 1995. Vol. 18. № 2. P. 119–132.

Goodhart M. Theory in Practice: Quentin Skinner's Hobbes, Reconsidered // The Review of Politics. Summer, 2000. Vol. 62. № 3. P. 531–561.

Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge : MIT Press, 1991.

Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics / ed. J. Tully. Princeton : Princeton Univ. Press, 1989.

On Encountering the Past — Interview with Quentin Skinner // Finnish Yearbook of Political Thought. 2002. № 6. P. 32–63.

Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton : Princeton Univ. Press, 1975. P. VI–VII.

Raeff M. Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime. New York : Columbia Univ. Press, 1986.

Ransel D. The Politics of Catherinian Russia: the Panin Party. New Haven : Yale Univ. Press, 1979.

Skinner Q. Visions of Politics : in 3 vols. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2002. Vol. I : Regarding Method.

Статья поступила в редакцию 03.11.2016

Бугров Константин Дмитриевич

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
E-mail: k.d.bugrov@gmail.com

Bugrov, Konstantin Dmitrievich

PhD (History), Senior Researcher
Institute of History and Archaeology,
Ural Branch of Russian Academy
of Sciences
16, S. Kovalevskaya Str.,
620990 Yekaterinburg, Russia
E-mail: k.d.bugrov@gmail.com

**APPLYING THE METHODS OF THE HISTORY OF CONCEPTS
TO THE STUDY OF 18TH CENTURY RUSSIA'S POLITICAL HISTORY**

The article analyses an issue related to the methods underlying the study of the political thought and — broader — the political culture in 18th century Russia. The author examines the methods of the “Cambridge school” of political history, which is represented by the works of Q. Skinner and J. G. A. Pocock, and estimates the possibilities of using these methods upon Russian soil. Combining Skinners’ conception of “cultural lexicons” with the research ideas of M. M. Bakhtin (the theory of speech genres), the author considers the opportunity to study 18th century Russian political thought through the specification of certain communicative spheres — the court sphere and the public sphere. In the author’s opinion, the character of the political debate in each communicative sphere was defined by the relations between the addresser and the addressee within the process of communication. The court sphere was dominated by the panegyric, the manifesto and the report, which were all aimed at talking over different aspects of the absolutist vision of politics. In its turn, the public sphere, which started developing in the mid-18th century — a domain of book and journal publishers — was a space suitable for the formation of alternative political discourses (including republican political thinking). In conclusion, the author suggests a reform of the history of political culture to make it a history of individual authors, talking about politics in different communicative spheres, using certain concepts to achieve

pragmatic purposes, while simultaneously staying within the bounding context of a “cultural lexicon”.

Key words: 18th century Russia; history of concepts; intellectual history; political culture; monarchy; monarchism; absolutism; republicanism; constitutionalism; public sphere.

Acknowledgements

The article is supported by the *Russian Scientific Foundation for the Humanities* (RGNF), research project 16-31-00007 “From a Historical Source to Historical Reality: The Methodology of the ‘History of Concepts’ in the Studies of the Russian Public Thought of the 18th – Early 19th Centuries”.

Asard, E. (1987). Quentin Skinner and His Critics: Some Notes on a Methodological Debate. *Statsvetenskaplig Tidskrift*, 2, 101–116.

Atnashev, T., & Velizhev, M. (2015). «Context is king»: Dzhon Pocock — istorik politicheskikh iazykov (ot sostavitelei) [“Context is King”: John Pocock — a Historian of Political Languages (From the Editors)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 134/4, 21–41. Retrieved from <http://www.nlobooks.ru/node/6426>. (In Russian)

Bakhtin, M. M. (1979). Problema rechevykh zhanrov [The Problem of Speech Genres]. In M. M. Bakhtin, *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of Verbal Creativity] (pp. 237–280). Moscow: Iskusstvo. (In Russian)

Bugrov, K. D. (2012). Les institutions d’État et les vertus civiques dans la pensée politique de Nikita Panin (1760–1780). *Cahiers du monde russe*, 53/4, 1–16.

Bugrov, K. D. (2015). *Monarhiya i reformy. Politicheskie vzgliady N. I. Panina* [Monarchy and Reforms. Political Views of N. I. Panin]. Yekaterinburg: BKI. (In Russian)

Bugrov, K. D., & Kiselev, M. A. (2010). «Zakon» i «Sovet»: konceptualnoe pole proektov politicheskikh reform rossiiskoi bjurokraticheskoi elity (rubezh 50–60-h gg. XVIII v.) [“Law” and “Council”: The Conceptual Field of the Political Reform Projects Prepared by the Russian Bureaucratic Elite (Late 1750s – Early 1760s)]. *Dialog so vremenem. Almanah intellektualnoi istorii*, 33, 110–139. (In Russian)

Dmitriev, A. (2004). Kontekst i metod (predvaritelnye soobrazheniya ob odnoi stanovjaschejsia issledovatesloi industrii) [Context and Method (Preliminary Considerations about an Emerging Research Industry)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 66, 6–16. (In Russian)

Edling, M., & Morkenstam, U. (1995). Quentin Skinner: From Historian of Ideas to Political Scientist. *Scandinavian Political Studies*, 18/2, 119–132.

Goodhart, M. (2000). Theory in Practice: Quentin Skinner’s Hobbes, Reconsidered. *The Review of Politics*, 62, 3, 531–561.

Gukovsky, G. A. (1936). *Ocherki po istorii russkoi literatury XVIII veka. Dvoryanskaya fronda v literature 1750-h – 1760-h godov* [Essays on the History of 18th Century Russian Literature. The Gentry Fronde in the Literature of the 1750s–60s]. Moscow; Leningrad: Izd. Akademii Nauk. (In Russian)

Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.

Intervju s Aleksandrom Bikbovym, Aleksandrom Dmitrievym i Denisom Sdvizhkovym [An Interview with Aleksandr Bikbov, Aleksandr Dmitriev and Denis Sdvizhkov] (2015). *Novoe literaturnoe obozrenie*, 134/4, 93–108. Retrieved from <http://www.nlobooks.ru/node/6429>. (In Russian)

Khudushina, I. F. (1995). *Tsar. Bog. Rossiya. Samosoznanie russkogo dvorjanstva (konets XVIII – pervaja tret’ XIX vv.)* [Tsar. God. Russia. The Self-Consciousness of the Russian Nobility (Late 18th – 1st Third of 19th Centuries)]. Moscow: IF RAN. (In Russian)

Koposov, N. E. (2006). Istoriya ponjatii vchera i segonja [History of Concepts Yesterday and Today]. In N. E. Koposov (Ed.), *Istoricheskie ponjatija i politicheskie idei v Rossii, XVI–XX veka*

[Historical Concepts and Political Ideas in Russia, 16th–20th Centuries]. *Istochnik, istorik, istoriya* [Resource, Historian, History] (Issue 5, pp. 9–32). Saint Petersburg: Aleteja. (In Russian)

Lapteva, Yu. V. (2011). Proekt fundamentalnykh zakonov N. I. Panina — D. I. Fonvizina kak projavlenie dvorjanskoi oppozitsionnosti vo vtoroi polovine XVIII veka [Project of Fundamental Laws of N. I. Panin — D. I. Fonvizin as Manifestation of Gentry Opposition of 2nd Half of the 18th century]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, 224. *Istorija*, 44, 19–24. (In Russian)

Lotman, Yu. M. (2000). Russo i russkaja kultura XVIII — nachala XIX veka [Rousseau and Russian Culture of the 18th — Early 19th Centuries]. In Yu. M. Lotman, *Sobranie sochinenii. Vol. 1. Russkaia literatura i kultura Prosveschenija* [Collection of Works. Vol. 1. Russian Literature and Culture of the Enlightenment] (pp. 5–206). Moscow: OGI. (In Russian)

Majofis, M. (2008). *Vozzvanie k Evrope: Literaturnoe obschestvo “Arzamas” i rossiiskii modernizatsionnyi proekt 1815–1818 godov* [A Call to Europe: Literary Society of “Arzamas” and the Russian Modernization Project of 1815–1818]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

Marasinova, E. N. (2008). *Vlast i lichnost. Oчерki russkoi istorii XVIII veka* [The Power and the Person. Essays in 18th Century Russian History]. Moscow: Nauka. (In Russian)

Mironov, B. N. (1999). *Socialnaja istorija Rossii perioda Imperii (XVIII — nachalo XX v.)* [Social History of Russia of the Imperial Age (18th — early 20th Century)] (Vol. 1. *Genezis lichnosti, demokraticeskoi semji i pravovogo gosudarstva* [Genesis of Personality, Democratic Family and Rule of Law]). Saint Petersburg: Dmitry Bulanin. (In Russian)

On Encountering the Past — Interview with Quentin Skinner (2002). *Finnish Yearbook of Political Thought*, 6, 32–63.

Plotnikov, A. B. (2000). Politicheskie proekty N. I. Panina [Political Projects of N. I. Panin]. *Voprosy istorii*, 7, 74–85. (In Russian)

Pocock, J. G. A. (1975). *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*. Princeton: Princeton University Press.

Polskoy, S. V. (2007). Formirovanie “pridvornogo obschestva” v Rossii: imperatorskii dvor i dvorjanstvo v seredine XVIII veka [The Formation of ‘Court Society’ in Russia: Imperial Court and the Nobility in the Mid-18th Century]. *Classical Russia. 1700–1825*, 2, 117–143. (In Russian)

Polskoy, S. V. (2011). Dvorjansky konstitutsionalizm v Rossii XVIII — nachala XIX vv. [Nobility Constitutionalism in Russia, 18th — Early 19th Centuries]. *Voprosy istorii*, 6, 27–42. (In Russian)

«Poniatia o Rossii»: *K istoricheskoi semantike imperskogo perioda* [“Concepts of Russia”: Towards the Historical Semantics of the Imperial Period] (Vols. 1–2). (2012). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

Raeff, M. (1986). *Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime*. New York: Columbia University Press.

Ransel, D. (1979). *The Politics of Catherinian Russia: the Panin Party*. New Haven: Yale University Press.

Roschin, E. N. (2009). Istorija ponjatii: novy stary podhod obschestvennykh nauk [History of Concepts: New Old Approach in Social Sciences]. *Politicheskaja nauka*, 4, 43–58. (In Russian)

Schmitt, K. (2000). *Politicheskaja teologija* [Political Theology]. Moscow: KANON-Press-C. (In Russian)

Skinner, Q. (2002). *Visions of Politics* (Vol. I. *Regarding Method*). Cambridge: Cambridge University Press.

Timofeyev, D. V. (2011). *Evropeiskie idei v socialno-politicheskom leksikone obrazovannogo rossiiskogo poddannogo pervoi chetverti XIX veka* [European Ideas in the Social and Political Lexicon of an Educated Russian Subject of the First Quarter of the 19th Century]. Chelyabinsk: Encyclopedia. (In Russian)

Timofeyev, D. V. (2014). «Istorija ponjatii» kak teoretiko-metodologicheskaja osnova issledovaniia po istorii rossiiskoi modernizatsii pervoi chetverti XIX v. [The History of Concepts as a Theoretical and Methodological Framework of Studies on Russian Modernization History of the 1st Fourth of the 19th Century]. *Izvestija Uralskogo federalnogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnye nauki*, 4, 123–136. (In Russian)

Timofeyev, D. V. (2015). Metodologija “istorii ponjatii” v kontekste istorii dorevoljutsionnoi Rossii: perspektivy i principy primeneniya [The Methodology of the ‘History of Concepts’ in the Context of History of Pre-Revolutionary Russia: Prospects and Principles of Use]. *Dialog so vremenem. Almanach intelektualnoi istorii*, 50, 116–138. (In Russian)

Tully, J. (Ed.). (1989). *Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics*. Princeton: Princeton University Press.

Uspensky, B. A., & Zhivov, V. M. (1996). Tsar i bog (Semioticheskie aspekty sakralizatsii monarha v Rossii) [Tsar and God (Semiotic Aspects of a Monarch’s Sacralization in Russia)]. In B. A. Uspensky, *Izbrannye trudy* [Selected Works] (Vol. I. *Semiotika istorii. Semiotika kultury* [Semiotics of History. Semiotics of Culture]). Moscow: Shkola “Yazyki russkoy kultury”. (In Russian)

Yanov, A. L. (2008). *Rossija i Evropa. 1462–1921* [Russia and Europe. 1462–1921] (Vols. 1–3). Moscow: Novy Hronograf. (In Russian)

Zhivov, V. M. (Ed.). (2009). *Ocherki istoricheskoi semantiki russkogo jazyka rannego Novogo vremeni* [Essays on the Historical Semantics of the Russian Language of the Early Modern Era]. Moscow: Jazyki slavjanskoi kultury. (In Russian)

Received on 03 November, 2016